

Формула „економіческого самодовлѣнія“ дѣйствительно вызывает недоразумѣнія, и ідея самодовлѣнія въ точномъ смыслѣ есть идея совершенно утопическая. Но вскрывая ея несостоятельность и изгоняя ее изъ употребленія, надлежитъ помнить, что этимъ отрицательнымъ суждениемъ совершенно ничего положительного по существу для экономической характеристики отдѣльныхъ странъ не высказывается. Нѣть политическихъ цѣлыхъ, экономически „самодовлѣющихъ“, но разныя политическая цѣлья весьма разнятся по своему экономическому укладу.

Весьма выпукло въ данныхъ, приводимыхъ Danos, выступаетъ экономически скромная роль колоній для старыхъ странъ-метрополій. Отсюда авторъ справедливо заключаетъ (стр. 69), что „колоніальная политика не можетъ найти себѣ основанія въ миѳѣ „самодовлѣнія“; она можетъ быть оправдана лишь соображеніями общей политики, а не политики экономической. Колоніи какъ Франціи, такъ и Англіи были основаны не потому, что прежде всего нужно было обеспечить этимъ державамъ сырье для ихъ промышленности и рынки для ихъ издѣлій. Колоніи были основаны ради увеличенія политического значенія этихъ странъ, дабы открыть новое поле дѣятельности для ихъ гражданъ“.

Интересенъ также по существу и методически и другой выводъ автора, что основными факторами, опредѣляющими вицьшній товарообмѣнъ разныхъ странъ между собою, являются ихъ географическая близость и степень ихъ богатства. Эти два момента, а не мѣропріятія экономической политики обусловливаютъ собой характеръ и направленіе товарообмѣна. „Преобладающая роль этихъ естественныхъ причинъ объясняетъ устойчивость международного оборота“ (стр. 69).

Мысли и выводы автора не новы, но его этюдъ, благодаря обилію выразительныхъ статистическихъ таблицъ и диаграммъ, представляетъ весьма удобное и нужное пособіе при анализѣ явлений международного товарообмѣна. Для пониманія измѣненій, произошедшихъ въ послѣвоенную эпоху и вообще весьма трудно еще уловимыхъ, трудъ Danos, конечно, почти ничего не даетъ.

Петръ Струве.

4. Домъ Литераторовъ. Пушкинъ. Достоевскій.

Петербургъ 1921. Стр. 147.

Маленькая книжечка in 16^o — сборникъ, составившійся изъ нѣсколькихъ рѣчей, произнесенныхъ на собрaniяхъ „Дома Литераторовъ“, посвященныхъ памяти двухъ великихъ русскихъ творцовъ. Открываетъ сборникъ „декларация (о) ежегодномъ всероссійскомъ чествованиі памяти Пушкина въ день его смерти“, подписанная различными „учрежденіями и организациями“, въ томъ числѣ „союзомъ пролетарскихъ писателей“ и „цехомъ поэтовъ“. Весьма характеренъ подходъ къ оцѣнкѣ творчества и исторического значения Пушкина, которою авторы декларации стараются обосновать „чувство благоговѣнія“ передъ Пушкинымъ — „для всякаго культурного русского человѣка Пушкинъ прежде всего — символъ общественно-исторического значенія литературы, а судьба его — прижизненная и посмертная — неповторимый примѣръ могущества пера“.*). За этимъ слѣдуетъ неизбѣжная цитата изъ „Памятника“. Такъ снова творчество духовное, строительство культуры вдвигается въ узкія и тѣснящія рамки общественности: почему, становится понятно изъ пристального вдумыванія во всю идеологію сборника — жизни, стихийно-текущей и замкнутой въ своей самодовлѣющей закономѣрности, противопоставляется только „чи-

*.) Минѣ чутся въ этихъ словахъ преимущественно новая политическая „эзоповщина“, одно изъ непререкаемыхъ „завоеваній революції“.

П. С.

сто-художественная" цѣнность поэтическаго созерцанія; о творческихъ идеалахъ, которые были бы заданіемъ превозмогающей стихіи воли, которые бы обновляли жизнь свободно избираемыми цѣнностями, здѣсь не говорится. Наиболѣе характерна въ этомъ отношеніи рѣчь Ал. Блока „О назначеніи поэта“, — ея тезисы отчасти уже известны изъ другихъ недавно опубликованныхъ прозаическихъ опытовъ Блока за послѣдніе годы. Блокъ созерцаетъ міръ и природу существенно натуралистически — „міровая жизнь состоить въ непрестанномъ созиданіи новыхъ видовъ, новыхъ породъ“, говорить онъ; міръ — творящій хаось, изъ которого неудержимо рождается „космосъ“ и „гармонія“, рождается и гибнетъ. Мы — только сторонніе наблюдатели возникновеній и крушений, увлекаемые потокомъ жизни — „участіе наше — большей частью бездѣятельно“, мы пассивно „способствуемъ образованію новыхъ породъ“... Здѣсь нѣть мѣста творчеству, и понятно, что и поэтъ оказывается для Блока не творцомъ, а какъ бы толкователемъ наличного и даннаго. „Три дѣла возложены на него: во-первыхъ, освободить звуки изъ родной беззначальной стихіи, въ которой они пребываютъ; во-вторыхъ, — привести эти звуки въ гармонію, дать имъ форму; въ третьихъ — внести эту гармонію во вѣнчаній міръ“; активность послѣдняго „лѣла“ — мнимая, — „похищенные у стихіи и приведенные въ гармонію звуки, внесенные въ міръ“, говорить Блокъ, „сами начинаютъ творить свое дѣло“. Гармонія подслушивается, — улавливается чуткимъ слухомъ „на бездонныхъ глубинахъ духа, гдѣ человѣкъ перестаетъ быть человѣкомъ“; тамъ „катятся звуковыя волны, подобныя волнамъ эфира, объемлющимъ вселенную; тамъ идутъ ритмическая колебанія“... „Творить“ поѣтъ лишь въ области словесной формы, въ области „мастерства“, какъ выражается самъ Блокъ; новаго въ мірѣ онъ ничего не вносить. Его свобода — свобода только отъ „черни“, отъ сложности вѣнчаной жизни, — и нужна она для того, чтобы проникнуть въ стихійный нѣдра безличного созиданія, гдѣ растворяется въ неизбывныхъ переходахъ всякая индивидуальность. — Съ такимъ міроощущеніемъ нельзѧ выйти за зачарованныя рамки „даннаго“ и преодолѣть бѣгъ временъ.

Въ пониманіе пушкинского творчества три посвященные этой темѣ статьи (В. Ходасевича, Колеблемъ треножника; А. Ф. Кони, Общественные взгляды Пушкина; Б. Эйхенбаума, Проблемы поэтики Пушкина) вносятъ не много. Ходасевичъ ставитъ интересный вопросъ объ отношеніи между Пушкинымъ и современностью, но не рѣшаетъ его и даже не намѣчетъ пути къ рѣшенію: нельзя его рѣшить, не осознавши资料а своего самосозидаемаго лица, — однимъ исканіемъ вѣнчано-лагающагося „лица“ совѣтности. Кони со своею обычной манерою „гуманиста“-эстета выдѣляетъ у Пушкина мотивы гражданской скорбы и милости къ падшимъ. Эйхенbaumъ сообщаетъ рядъ стилистическихъ наблюдений надъ пушкинскимъ стихомъ и ритмикою его прозы, — кромѣ стиля для него въ „искусствѣ“ Пушкина нѣть ничего. — Все это въ качествѣ деталей како-то углубленной работы надъ осознаніемъ Пушкина, какъ русскаго гения, безспорно было бы интересно. Но эта работы еще нѣть, и тогда такого рода „александристик“ изысканія бесплодны и ни къ чему. „Душа“ Пушкина не можетъ быть уловлена иначе, какъ напряженію думой надъ „загадками міорозданья“, тревожившими ее — и только въ свѣтѣ общей „философской“ интуїціи великаго поэта могутъ быть поняты его „общественные“ взгляды, разгадано его художественное мастерство и найдено ему мѣсто въ тревожномъ сознаніи современности.

Отдѣль сборника о Достоевскомъ представленъ въ сущности одною статьей А. Г. Горнфельда — „Два сорокалѣтія“ (имѣются въ виду сорока-лѣтія прижизненной критики и посмертнаго изученія); — очеркъ А. Ремизова — „Огненная Россія“, написанный съ несомнѣннымъ эмоциональнымъ подъемомъ, насыщенный чувствомъ рождающейся жизни, для пониманія Достоевскаго не даетъ ничего. — Горнфельдъ производить очень тонко-выполненное обозрѣніе „критической литературы“ о Достоевскомъ, — такого очерка мы до сихъ поръ не имѣли. Очень ярко выступаетъ передъ нами

картина сплошного непониманія Достоєвського его современниками, тщетно вдвигавшими его въ рамки бытописанія и психопатологического анализа: ни „таланта“, ни „міровоззрѣння“ его они просто не замѣчали. Удачно изображается дальнѣйшее возникновеніе и нарастаніе пониманія и „вкуса“ къ Достоевскому, связанное съ именами Влад. Соловьева, Михайловскаго и Розанова; однако, сопоставленіе этихъ имёнъ вызываетъ нѣкоторое недоумѣніе. Можно-ли, Жестокий талантъ“ называть вслѣдъ за Горнфельдомъ „изслѣдованіемъ“ творчества Достоевского и признать психологически-вѣрной, — хотя-бы и не исчерпывающей, — характеристику, данную Михайловскимъ Достоевскому, какъ человѣку и наблюдателю жизни? Какъ разъ „изслѣдованія“ Соловьева, Розанова и шедшаго за ними Мережковскаго показываютъ всю неосновательность того вицъшняго и формального опредѣленія, въ которомъ Михайловский шелъ въ сущности за „критикой“ 60 и 70-хъ годовъ: вицъ содѣржанія собственныхъ положительныхъ иде-аловъ автора „Братіевъ Карамазовыхъ“, „жестокость“ его таланта и страдальность его образовъ рѣшительно непонятна. — Непонятно отсутствіе въ обозрѣніи Горнфельда хотя-бы бѣглого упоминанія о проникновенныхъ опытахъ истолкованія Достоевскаго, сдѣланныхъ Вяч. Ивановымъ давно уже на страницахъ „Русской Мысли“, — они заслуживаютъ болѣшаго вниманія, чѣмъ поминаемые въ текстѣ Вересаевъ и Переверзевъ. Врядъ-ли это случайно: Горнфельдъ правильно связываетъ развитіе взглядовъ на Достоевскаго съ общую эволюціей русскаго сознанія, но онъ не улавливаетъ подлиннаго, „содержательнаго“ смысла этой эволюції, — однимъ наростаніемъ „романтизма“, вѣдь, она не исчерпывается... Ирраціонализмъ, интуитивизмъ, „религіозность“ — все это только формальная поверхность; ядро совершившагося въ истекшіе полвѣка сдвига интеллигентской мысли состоить изъ сплетенія національно-русской и церковно-православной идей... Достоевскій, какъ пророкъ раскрывающейся русской народной тайны, какъ проповѣдникъ назрѣвающаго православнаго „возрожденія“, — вотъ образъ, угаданный уже Соловьевымъ, почти что очерченный Мережковскимъ... И съ этимъ полнокровнымъ и яркоцвѣтнымъ образомъ связана тяга русской мысли и русской воли къ Достоевскому. Понять этотъ узель совершающихся нынѣ возвратовъ къ нашему „прошлому“, онять таки, можно единственно самому взойдя на путь исканія. — Пушкинъ и Достоевскій, — такъ они противоположны. Почему теперь идутъ ко второму, а не къ первому? Это сложная загадка, но не психологическая только, а идеологическая, — явленіе это связано съ самимъ содѣржаніемъ современныхъ вопросовъ.

Наше прошлое мы знаемъ плохо. Идейное наслѣдіе „отцовъ“ мы изучили, поняли и восприняли плохо. Но путь плодотворного освоенія „преданий“ ведеть только черезъ творчество и исканіе новаго, а не чрезъ то „ученое“ изслѣдованіе, примѣры которого даютъ намъ опыты петербургскихъ „литераторовъ“.

Прага Чешская, 21-III-1922.

Георгій В. Флоровскій.